

Эффект свидетеля

с.и.

Сергей Шаповалов

Эффект свидетеля

<https://litres.ru/74350558>

SelfPub; 2026

Аннотация

Анна была женой человека, которого все считали безупречным. Красивый, спокойный, уважаемый врач, спасающий жизни, — он вытащил её из чёрной ямы отчаяния и стал для неё всем. Но однажды Анна поняла то, чего не должна была понять. И то, что она увидела, лишило её сна навсегда.

Она сделала единственное, что могла: забрала детей и исчезла. Сменила фамилию, город, дом, замки — всё, что выдает человека. Но ужас в том, что от такого мужа не спастись ничем на свете. Он не кричит, не угрожает, не преследует явно. Он ищет её ровно и методично, как привык делать всё, — и оттого его тихая, разлитая по городу охота страшнее любой погони.

Теперь Анна — не жена, а единственный свидетель. Единственный человек, который знает, кто он на самом деле. И тот, кто знает, — опасен.

Психологический триллер «Эффект свидетеля» — о том, что ужас не живёт в тёмном переулке. Он входит в дом через незапертую дверь — тихий, как сквозняк. И у страха нет срока давности.

Содержание

Часть I. Дом, который держал	9
Глава 1. Обыкновенное утро	9
Глава 3. Первая трещина	20
Часть II. Оправдание	27
Глава 5. Чужая хроника	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Сергей Шаповалов

Эффект свидетеля

Пролог.

Дверь в квартире Анны не запиралась изнутри уже вторую неделю. Замок заело, язычок не доходил до паза, и дверь, если толкнуть её как следует, подавалась с тем коротким, беззвучным вздохом, с каким уступает то, что давно перестало держать. Вызвать мастера она так и не решилась, хотя набирала его номер каждый вечер и каждый вечер сбрасывала, не дождавшись гудка, — и сама не понимала, чего ждёт. Теперь, оглядываясь, понимала.

Это была, пожалуй, единственная расхлябанность, которую она позволила себе за всю свою аккуратную, налаженную, до последней пуговицы застёгнутую жизнь. Всё в этой жизни было прибрано, стерильно, расставлено по местам — и оттого именно эта мелочь, эта незакрытая, полуоткрытая дверь, была не случайностью, а чем-то вроде прорехи, в которую, как в скважину, вползал с улицы сквозняк. И она знала, почти наверняка знала, что поплатится за неё.

Поплатилась.

Он вошёл, когда она мыла посуду. Анна не услышала ни шага, ни щелчка, ни скрипа половицы — только вдруг поняла спиной, что в кухне стало на одного человека больше. Так понимают приближение холода не по лицу, а по затылку:

сначала затылок, потом уж кожа, потом всё прочее. Воздух в кухне сгустился, стал плотным и чужим, и в этой плотности, в этом внезапном, ничем не объяснимом присутствии за спиной, было всё, что она бежала назвать по имени столько лет.

— Ты не запираешь дверь, — сказал Марк.

Голос его был тот самый — ровный, спокойный, чуть вкрадчивый, тот, что много лет назад, в кабинете с приглушённым светом, вытащил её из чёрной ямы, куда она ушла после потери ребенка, и вернул к дыханию. Тогда этот голос был ей как рука, протянутая в глубину. Теперь он звучал иначе. Хотя, может быть, дело было не в голосе, а в самой Анне: она выросла из всего, что он ей тогда дал, как вырастают из одежды, которую некому больше передать, — из спасения, из благодарности, из самой любви, что когда-то была ей всем.

— Зачем ты пришёл? — спросила она, не оборачиваясь.

Руки её по-прежнему держали тарелку под струёй воды. Вода была тёплой, почти приятной, и оттого всё происходящее казалось ей особенно нелепым, будто сдвинутым на полтакта, — как будто убивают не тогда, когда страшно, не в тёмном переулке, не под гром, а тогда, когда всего лишь моют посуду, тёплой водой, после ужина, в самый будний, самый пустой час.

Он подошёл ближе. Она не видела, но слышала; слышала, как мягко ступают его подошвы, как шуршит намокшее от

дождя пальто, как он достаёт что-то из кармана — лёгкий, металлический блеск, из тех, что забываются сразу, если не знаешь, что они значат. Она медленно, не оборачиваясь, перевела взгляд вниз и увидела в тёмной воде мойки, поверх тарелок, его отражение краем — и в этом отражении, смазанном паром и паром струящейся воды, не разобрать было ни лица, ни того, что он держит. Только металл. Только короткий, тусклый, неровно взблескивавший в жёлтом свете металл.

Скальпель.

Профессия его выдала себя раньше, чем он успел что-либо сказать. Этим предметом он, она вдруг поняла, не отвлечённо владел, а владел, как собственным продолжением: узкая, стерильная, доведённая до беззвучного блеска сталь, с какой снимают с рук перчатки, заканчивая смену. В его ладони этот тонкий, почти невесомый у язычка инструмент лежал не как орудие, а как вещь привычная, домашняя, — и в этой-то привычности, в этом будничном, врачебном покое, с каким он держал его, и был весь ужас.

— Ты всё поняла, — сказал Марк. — И не рассказала. Это делает тебя сильнее, чем я думал.

Слова эти упали в тишину, как камень в колодец, и Анна поняла, что дна у них нет. Что всё то, от чего она бежала, всё, что она столько лет сносила со стен и прятала под пол, всё, о чём она молчала, замирая, — всё это теперь стояло у неё за спиной, живое, плотное, дочитавшее её до конца, и

только и ждало, чтобы она обернулась.

И она обернулась.

Медленно, до конца, как делают всё в доме, где заведён порядок: сначала выключила воду, до упора, до той самой точки, где кран перестаёт дышать; вытерла руки полотенцем, повесила его ровно на крючок, оправила складку. И лишь потом, когда всё было кончено и убрано, как подобает, — обернулась.

Перед ней стоял человек, которого она когда-то любила так, как умеют любить спасённые — без оглядки, без остатка, всем своим скудным, выстраданным сердцем. Тот, кто выдернул её из темноты и тем самым, сама того не зная, наделил собою всё её последующее, как наделяют дом — стенами, а тело — именем. И вот он стоял теперь напротив неё, в её собственной кухне, и в руке у него, прижатый к бедру так, чтобы не бросаться в глаза, поблёскивал скальпель — не чужой, не случайный, а его, взятый, быть может, из той самой стерильной, до скрипа вымытой жизни, чьей безупречностью Анна так долго обманывалась.

За окном, не переставая, моросило. По стеклу ползли косяе, дрожащие капли, и тень от водосточной трубы двоилась и плыла в этой влажной мути, и в этом двоении, в этом расплывшемся, неузнаваемом отражении на стене Анна вдруг, краем глаза, поймала себя и его — две смутные, колеблющиеся фигуры, сошедшиеся в одной точке, как сходятся на сквозняке две створки одной двери.

— Я пришёл закончить, — сказал он.

И в этих трёх словах, простых, ровных, сказанных тем самым голосом, которым он столько лет желал ей доброго утра, было столько окончательной, ничем уже не замкнутой пустоты, что Анна поняла, дрогнув всем телом: начинается. Не тогда, когда страшно. Не тогда, когда гром. А теперь — в тишине, на кухне, над тёплой водой, из которой она только что вынула руки.

Начинается — и на этот раз уже не кончится ничем, кроме последнего.

Часть I. Дом, который держал

Глава 1. Обыкновенное утро

Все счастливые семьи похожи друг на друга — Анна помнила эту фразу ещё со школы, знала её наизусть, как знают стихи, которые когда-то заставляли учить, а после не могут выбросить из головы. И каждое утро, просыпаясь в своём доме, она невольно примеряла эту фразу к своей жизни, и каждое утро выходило одно и то же: да, она счастлива. Счастлива той особенной, ровной, ничем не омрачённой благодарностью, которая похожа на воду в колодце — её не видно, но она всегда там, и всякий, кто зачерпнёт, знает, что она чиста.

Утро в их доме начиналось одинаково, и в этой одинаковости было её главное успокоение.

Первым, как всегда, поднимался Марк. Он вставал тихо, не зажигая света, чтобы не будить её, и Анна, лёжа в полудрёме, слышала сквозь сон его осторожные шаги по спальне, шорох рубашки, чуть слышный скрип половицы у окна — той самой половицы, в которую он всякий раз наступал и всякий раз обходил её, уже угадывая, где она поскрипывает. Потом, уже совсем тихо, доносился плеск воды из умывальни, и Анна, не открывая глаз, знала: скоро запахнет кофе.

Так было заведено, и так оставалось уже сколько лет, и

в этом неизменном порядке ей чудилась некая высшая, почти торжественная правильность, словно само утро вставало и умывалось вместе с её мужем, послушное раз и навсегда установленному порядку.

Дети спали наверху. Их было двое — мальчик и девочка, — и за годы Анна так привыкла к их дыханию, разносящемуся по утрам от стен, что уже не могла бы объяснить, как жила, когда этого дыхания не было. Они просыпались позже, перед самым завтраком, и дом наполнялся голосами не сразу, а как-то исподволь, как наполняется светом комната, когда раздвигают штору, — маленький шум, смешок, топот босых ног по лестнице.

— Папа уже встал? — спрашивал сын, протирая кулаками глаза, и в голосе его было то почтительное удивление, с каким дети относятся ко всему, что у отца их кажется им взрослым и недостижимым.

— Встал, — отвечала Анна, поправляя ему воротничок. — Сейчас будем завтракать.

И всякий раз, произнося эти простые слова, она испытывала тихую, глубокую радость, которую не умела бы назвать и которая была для неё ценнее всякой иной радости, потому что не зависела ни от погоды, ни от денег, ни от чужих людей.

Марк появлялся, когда кофе был уже налит. Он входил на кухню со спокойным, немного усталым лицом человека, который плохо спал и не желает, чтобы это замечали, и садился

во главе стола — на то самое место, которое за годы стало его местом так прочно, что никто уже и не подумал бы его занять.

Он подносил чашку к губам, и в каждом его движении была та неторопливая, уверенная правильность, которой Анна не переставала любоваться. Она не умела бы сказать, чем именно любитесь — руками ли его, такими спокойными, что, глядя на них, переставало быть страшно; лицом ли его, на котором какая-то всегдашняя забота о чужих ему людях оставила глубокие складки у рта; или той особенной, ему одному свойственной манерой слушать, наклоня голову чуть набок и не перебивая, — манерой, за которую его так и любили пациенты, и за которую, может быть, Анна впервые его и полюбила, тогда, много лет назад, когда сама была ещё только пациенткой и не смела и думать о большем.

— Ночью опять звонили, — сказал он, не поднимая глаз от чашки. — Из клиники. Дежурство выдалось тяжёлое.

Анна кивнула. Она не спрашивала, кто звонил и зачем: за годы она выучилась понимать, что есть вещи, о которых Марк рассказывал ей сам, а есть такие, которые он оставлял при себе, и что не следует тревожить человека, и без того уставшего от чужих бед, расспросами о том, чего он не говорит.

— Ты бы поспал днём, — сказала она вместо этого мягко.

— Посплю, — отвечал он, и по лицу его прошло то отсутствующее, почти отсутствующее выражение, какое бывает у

людей, когда они отвечают, не слыша вопроса.

И Анне вдруг, без всякой видимой причины, сделалось грустно. Она сама не знала отчего. Может быть, оттого, что всё это утро — и кофе, и дети, и салфетка на коленях, и его усталое лицо — было так обыкновенно и так полно тихого счастья, что ей на мгновение стало страшно: слишком уж хорошо, слишком уж ровно, и как будто нельзя, чтобы всегда так хорошо да так ровно, и должно же когда-нибудь что-нибудь случиться.

Она отогнала эту мысль, как отгоняют муху с лица, и устыдилась её. Какая глупость, подумала она, какая бабья, пустая, суеверная глупость — пугаться собственного счастья. Точно счастье даётся взаймы и за него надобно непременно расплачиваться. Нет, нет. Ей просто нездоровится с утра, оттого и грусть.

Она улыбнулась мужу через стол.

— Знаешь, — сказала она, — я сегодня подумала: как мне повезло с моим мужем.

Марк поднял глаза. Секунду смотрел на неё, и ей показалось, что в зрачках его что-то мелькнуло — не то тень, не то вопрос, — но то было, верно, от лампы, и теперь, вспоминая то утро, Анна всегда говорила себе, что ей это только почудилось.

— Хорошая, — согласился он. И добавил, возвращаясь к телефону: — дай Бог, чтобы ты всегда так думала.

И Анне, глядевшей на него, стало вдруг так хорошо и

так спокойно, что всю свою остальную, долгую и несправедливую жизнь она помнила потом это утро — кофе, детей, его склонённую над столом голову и свою собственную, простую, неразумную и такую сильную радость, — помнила и не могла отделаться от мысли, что всё это было счастье, и что счастье это уже тогда, в то самое безмятежное утро, стояло на краю беды, как стоит человек на берегу реки, не зная, что лёд под ним тонок и что ступить — значит уйти под воду.

После завтрака Марк ушёл наверх — переодеться перед приёмом. Дети, которым пора было собираться в училище, шумели в передней, и Анна, усадив их и поправив платье дочери, сама не заметила, как у неё вырвалось то, что она не собиралась говорить:

— Будьте умницами. И возвращайтесь засветло, не задерживайтесь.

— Мы всегда засветло, — улыбнулась дочь, и Анна, глядя, как они выбегают за калитку, вдруг поняла, что сказала это неспроста, что в ней, помимо воли её, уже заговорило то необъяснимое, глухое предчувствие, которое она гнала от себя всё утро и которое теперь, у открытой калитки, в свете серого зимнего дня, сделалось так явственно, что у неё похолодели пальцы.

Она постояла, глядя вслед детям. Потом вздохнула, устыдилась себя ещё раз и пошла в дом — к своему обыкновенному, устоявшемуся, такому понятному порядку, в котором, как ей тогда казалось, не было и не могло быть места ника-

кой беде.

А беда уже стояла в доме. Стояла давно. Стояла наверху, за закрытой дверью кабинета, и ждала только своего часа, как ждёт вода, подточившая лёд, — тихо, беззвучно, до первого шага.

Глава 2. Город, который привык бояться

Город, в котором жили Марк и Анна, был из тех тихих провинциальных городов, о которых принято говорить, что в них никогда ничего не происходит, и говорят это с той особенной, почти завистливой нежностью, с какой говорят о местах, где время будто замедлилось. И в этом была горькая, всеми чувствуемая и никем не высказываемая вслух неправда, потому что в городе этом случилось то, о чём не пишут в местных новостях и чего не обсуждают в общем чате дома, — и то, отчего весь этот тихий, аккуратный, в меру спокойный город с некоторых пор привык жить со страхом, как привыкают жить с застарелой болезнью, о которой неприлично говорить за столом.

Страх этот не был похож на тот внезапный, крикливый ужас, что охватывает человека во время пожара или аварии. Нет, он был тих и постоянен, он был как сырость в старых стенах — его не замечали, пока не наступал вечер. Днём город жил своей обычной, дочиста выметенной жизнью: на рынке торговали овощами и цветами, дети гоняли на самокатах по свежееуложенному асфальту, старухи на лавочках у подъездов перебирали чужие судьбы, не повышая голоса, и в

кофейнях сидели за ноутбуками те, кто так и не уехал отсюда в столицу. Но едва смеркалось, как город словно сжимался, как человек, услышавший за спиной шаги, и улицы пустели быстро и беззвучно, будто кто-то невидимый обходил дома и гасил в окнах свет.

Только пустели теперь не все улицы одинаково. Едва темнело, как город делился надвое, и деление это, нигде не записанное, но известное каждому, было строже всякого указа: мужчинам ещё можно было ходить, женщинам — нет. По вечерам города здесь боялись одни только женщины. Они перестали бегать в парке, перестали ходить домой пешком, перестали срезать через двор на пути от остановки и выключали в наушниках музыку, чтобы слышать, а не заглушать. Вечерами, возвращаясь с работы, они звонили кому-нибудь — маме, мужу, подруге — и говорили в трубку не для того, чтобы поговорить, а для того, чтобы голос на том конце был рядом, чтобы улица знала: она не одна, её ждут, её хватятся.

А всё оттого, что был в городе человек, о котором все говорили и которого все помнили, — и выбирал он не всякого.

Когда это началось, никто уже не мог бы сказать в точности. Пропала одна девушка. Потом другая. Потом третья. Сначала казалось, что пропажи эти между собой не связаны: мало ли, поссорилась с родителями и уехала, мало ли, устала от всех и стёрла соцсети, мало ли, сбежала с кем-то, кого стыдно показать дома. Но постепенно, из года в год, из переписки в переписку, из шёпота в шёпот, стало складываться

то страшное, невыговариваемое слово, которое никто не решился произнести при детях, но которое все носили в себе, как носят камень за пазухой.

Слово это было — маньяк.

Да, в городе появился человек, убивавший людей. И убивал он не всех, а только молодых женщин и девушек — и в этом-то, в этой узкой, ясно очерченной выборке, и был самый настоящий, самый невыносимый ужас. Не было в его жертвах ни воровок, ни гулящих, кого бы можно было бы, по жестокости и вечной людской привычке, винить самих. Жертвы его были обыкновенны — студентки, возвращавшиеся с пар, продавщицы после смены, молодые мамы, вышедшие с коляской погулять и не вернувшиеся к ужину. Они не были похожи между собой ни лицом, ни достатком, ни характером; и оттого всякая девушка в этом городе, глядя в зеркало, невольно спрашивала себя: а не на меня ли он смотрит? Не я ли в группе риска?

Говорили о нём разное. Говорили, что он выходит только в дождь, потому что дождь смывает следы, да и камеры в ливень хуже видят. Говорили, что он человек интеллигентный, из тех, на кого не подумаешь плохого, — вежливый, опрятный, с хорошей машиной и без судимостей. Говорили, что он выбирает тех, кого долго не хватятся, — но и это не сходилось, потому что хватались и плакали обо всех, и посты о пропавших раскидывали по всем городским группам, и под этими постами, в комментариях, каждый раз разворачива-

лось одно и то же, заученное наизусть: «опять», «берегите своих», «не ходите одни», «когда это кончится».

И что было во всём этом самое мучительное — никто не знал, кто он. Оттого всякий мужчина, глядевший слишком долго, всякий таксист, вздрогнувший от тени в зеркале, всякий вежливый незнакомец, предложивший довезти до дома, мог оказаться тем самым человеком. Город, прежде доверчивый и простодушный, стал вдруг подозрителен ко всем мужчинам сразу, и эта всеобщая, всюду разлитая подозрительность была, может быть, тягостнее самого страха, потому что убивала то, на чём искони держался этот город, — веру человека в человека. Женщины стали реже смеяться на улице, реже оглядываться, реже останавливаться, чтобы помочь незнакомцу, и у каждой в сумке, рядом с ключами, лежал теперь баллончик, который никто из них не надеялся достать вовремя.

Особенно боялись ночей, и особенно — ночей дождливых.

Дождь в этом городе шёл часто, мелкий, упорный, тот, что не льёт, а сеет, и оттого земля на пустырях и за гаражами всегда была мягкая, податливая, будто ждавшая чего-то. По вечерам, когда монотонно стучало по карнизам и жестяным козырькам, матери писали дочерям, чтобы немедленно шли домой, и кидали геометку обратно; отцы выходили на балкон покурить и, не сговариваясь, смотрели вниз, во двор, в сырую темноту, где фонари гасли через один.

В такие ночи город не спал. Лежал с открытыми глазами и слушал: не щёлкнет ли в подъезде магнитный замок, не хлопнет ли дверца машины, не раздастся ли на пустой улице тот одинокий, неровный шаг, от которого потом, поутру, находили следы в мягкой, свежевскопанной земле за гаражами.

И хотя прошло уже много лет, и маньяк, казалось, притих, и женщины понемногу снова стали ходить по вечерам, — страх этот не умер вовсе. Он только затаился, как затаивается зверь в норе, и ждал, и по одному ему ведомым приметам знал, что час его ещё не настал. По ночам в этом городе по-прежнему закрывались окна на втором этаже, и по-прежнему ни одна девушка не останавливалась, чтобы ответить незнакомцу на вопрос, и по-прежнему в каждом подъезде, за каждой щёлкнувшей дверью, каждой женщине слышалось то, чего, может быть, и не было вовсе.

Город привык бояться. Привык до того, что уже и не замечал своего страха, как не замечают воздуха, которым дышат. И в этом привычном, въевшемся в самые кости страхе прошла вся жизнь Анны — жизнь, в которую, как она потом сама не раз говорила себе, беда не вошла, а именно что вернулась, потому что всегда была рядом, всегда стояла тут, за плечом, и только ждала, чтобы о ней вспомнили.

И вот в этом-то городе, среди этих-то замкнутых, наглухо запертых домов, и жил человек, которого все знали в лицо и которому уважительно кивали на улице, — врач, лечивший чужие души, разбиравший чужие страхи, возвращавший сон

и покой тем, кто их потерял. У него был хороший кабинет в центре, запись на месяцы вперёд и репутация человека, который умеет выслушать так, как не умеет никто.

И никто — ни Анна, ни сосед, ни старуха на лавочке, ни полицейский, дежуривший на перекрёстке, — не знал той простой и чудовищной правды, которую знал только сам этот человек, когда, оставшись вечером один в своём тихом кабинете, подходил к окну и долго, не зажигая света, смотрел на дождь, на мягкую, податливую землю и на пустые, сжавшиеся от страха дома.

Он смотрел на девушек, спешивших по улице, на их вжатые в плечи головы, на их торопливые шаги и оглядывания через плечо, — и молчал.

И в этом его спокойном, долгом, ничего не выражавшем молчании и была, быть может, самая страшная разгадка того, о чём город привык бояться и говорить шёпотом, — разгадка, до которой Анне предстояло дойти ещё не скоро, шаг за шагом, по той самой дороге, что начиналась у порога её собственного, такого обыкновенного и такого, как ей тогда казалось, счастливого дома.

Глава 3. Первая трещина

Весть о новой жертве пришла в дом не с улицы, не с телефона, не от соседки, что постарела и постарела от всех этих лет страха, — а как-то исподволь, вместе с вечером, вместе с тем серым, всё не гаснущим светом, каким светят в таких городах фонари, когда сырость стоит в воздухе плотно, как невысказанная тревога.

Анна узнала об этом позже всех. Так уж было заведено в их доме: дурные вести обходили её стороной, как обходят стороной человека, которого берегут. Марк не говорил ей о том, что творилось в городе, а если и упоминал, то вскользь, полунамёком, как о чём-то далёком и к их жизни отношения не имеющем. И Анна, может быть, оттого и жила так ровно все эти годы, что не пускала в себя чужого ужаса, — берегла свой дом от мокрого ветра, как берегут в холода тепло очага, не открывая двери.

Но в этот вечер вышло иначе, и она потом долго думала, что, видно, всему своё время и что нельзя вечно держать дверь запертой: рано или поздно беда не спрашивает, а входит.

Она возвращалась домой из магазина, когда уже смеркалось. Не то чтобы ей было нужно идти именно сейчас, именно в сумерки, но за день набралось столько мелочей, что и не управиться было раньше, а вечер выдался такой, что не сиде-

лось дома, — душный, тяжёлый, с тем особенным предгрозовым затишьем, какое бывает перед дождём, который всё не начинается и оттого висит над городом, как невыплаканная обида.

Навстречу ей шли люди, но как-то странно шли — не по-вечернему, не то чтобы гуляли, а торопились, пряча лица в воротники, хотя было не холодно. И Анна, не отдавая себе отчёта, поймала себя на том, что смотрит на них слишком пристально, что высматривает что-то в их лицах, в их торопливости, в том, как они переходят улицу, оглядываясь. Ей сделалось не по себе, и она ускорила шаг, сама не зная отчего. У ларька на углу стояли две женщины. Одна — продавщица, выскочившая перекурить, — куталась в вязаную кофту и говорила вполголоса, но так, что каждое слово долетало до Анны ясно, как будто было сказано для неё одной:— Опять. Такую молоденькую. И ведь шла-то всего с остановки... До подъезда двух шагов не дошла.

Вторая ахнула, перекрестилась и оглянулась по сторонам, будто сам воздух мог подслушать.

Анна прошла мимо. Ноги несли её дальше, домой, но сердце уже сжалось тем знакомым, глухим ужасом, который она всё эти годы гнала от себя и который теперь, сказанный чужим, тихим голосом, в одно мгновение стал её собственным.

Опять, думала она. Опять. И слово это, короткое, тёмное, как захлопнувшаяся дверь, засело в ней и не выходило.

Дома всё было как всегда, и это «как всегда» теперь казалось ей почти насмешкой.

В передней горела та же лампа, что и вчера, и в тот же час. Пахло ужином — тем едва уловимым, привычным запахом, какой бывает только в своём доме и который обычно успокаивал Анну, а теперь почему-то не успокаивал. Дети делали уроки наверху, Марк ещё не пришёл из клиники, и в доме стояла та особенная, вечерняя тишина, из которой, как из воды, выступают наружу все звуки, слишком громкие, слишком близкие: тиканье часов, скрип половицы, стук собственного сердца.

Анна разобрала сумки, поставила молоко в холодильник, вымыла руки. Делала всё машинально, как всегда, но мысль её уже не была здесь — она была там, на углу, у ларька, в этих двух коротких фразах, от которых у неё до сих пор не разжалась рука.

«Такую молоденькую». «До подъезда двух шагов не дошла».

Она прошла в ванную и зачем-то долго стояла перед зеркалом, не узнавая собственного лица. Лицо было прежнее — спокойное, правильное, с теми мягкими чертами, какие не меняет даже горе. И оттого, что лицо было прежнее, а внутри всё колотилось и ныло, Анне стало ещё страшнее: такой между наружным и внутренним разлад, думала она, и есть, верно, начало всякой беды.

Необъяснимое она заметила позже, уже к ночи.

Марк вернулся, как всегда, усталый, рассеянный, и, проходя в кабинет, снял и бросил на стул в передней своё пальто. Анна, убиравшая посуду, машинально взяла это пальто, чтобы повесить его как следует — была у неё такая привычка, тихая, почти незаметная её любовь, — и тут пальцы её наткнулись на что-то твёрдое, влажное, прилипшее к полотну у самого подола.

Она поднесла руку к свету.

Это была земля. Не пыль, не грязь уличная, не то, что остаётся на обуви и краях одежды в распутицу, а земля — рыхлая, тёмная, свежая, как будто только что взявшаяся из глубины, из подмёрзшего, податливого слоя, что лежит под верхней коркой. Она пахла сыростью и чем-то ещё, чему Анна не находила и не хотела находить имени. У неё похолодели пальцы, потом ладони, потом всё тело, снизу вверх, как будто холод этот шёл не снаружи, а от самой этой прилипшей к полотну земли.

Откуда? — спросила она себя, сама не зная, кому задаёт вопрос. Откуда на пальто Марка земля, если он весь день был в клинике, в кабинете, в том стерильном, вычищенном кабинете, куда, по его же словам, и в уличной обуви-то без бахил не войдёшь?

Она стояла так несколько секунд, а может, и минут — время вдруг перестало идти, — держа пальто на весу и не решаясь ни задать этого вопроса вслух, ни отвести от него взгляд.

Потом услышала, как по коридору идет муж.

Она не подняла головы. Стояла, комкая в кулаке влажную полу, и слушала, как приближаются его шаги — ровные, неторопливые, те самые шаги, которые столько лет были для неё самым надёжным звуком на свете и которые теперь отдавались в ней почему-то глухо, как удары в стену.

— Что ты там стоишь? — спросил Марк, остановившись в дверях.

Голос у него был обычный, спокойный, чуть усталый, и в этом-то обычном голосе Анне и почудилось что-то страшное: не то, что в нём было, а то, чего в нём не было. Он не спросил, что с ней. Не заметил, что она бледна. Он просто стоял и смотрел, ожидая ответа, и взгляд его, скользнув по пальто в её руках, не задержался ни на мгновение.

— Ничего, — сказала Анна, и голос её, к собственному удивлению, оказался ровным. — Пальто твоё вешаю.

— Повесь, — сказал он. — И иди спать. Поздно уже.

Он повернулся и ушёл в кабинет, не дождавшись ответа, и Анна осталась одна в передней, с чужим тёплым пальто в руках, с прилипшей к пальцам землёй и с сердцем, которое билось где-то у самого горла.

Всю ночь она не спала.

Лежала с открытыми глазами в темноте, слушала, как за стеной дышит муж, и гнала от себя мысль, но мысль эта, как вода, просачивалась в каждую щель, и не было от неё ни затвора, ни спасения.

Она говорила себе: глупости. Мало ли где испачкал чело-

век пальто. Мало ли где бывает мужчина, у которого весь день на ногах, — и двор, и стоянка, и подъезд, и бог весть ещё что. Земля в такую погоду повсюду, и ничего тут нет, и стыдно ей, честной, набожной жене, подозревать мужа невесть в чём из-за какого-то пятна.

Так говорила она себе одним голосом, а другой голос, тот самый, тихий и неотвязный, отвечал ей из темноты:

— А отчего же у тебя похолодели руки? Отчего же ты прислушивалась к его дыханию, как прислушиваются к шагам за дверью? Отчего же ты не спросила его ни о чём, а промолчала, как молчат, когда боятся услышать ответ? И на эти вопросы Анна не находила ответа, а потому и не спала, и к утру, когда за окном стало сереть, лежала всё так же, с открытыми глазами, уставшая и опустошённая, и в груди у неё треснуло что-то тонкое, еле слышное — то самое, чему она не знала названия, но что, треснув однажды, уже не склеивается вновь.

Утром она как ни в чём не бывало накрыла на стол, разлила кофе, поправила воротничок сыну и улыбнулась мужу через стол.

— Ты всё так и не прилёт, — сказал Марк, не поднимая глаз от телефона. — Лицо у тебя усталое.

— Ничего, — ответила Анна. — Просто не спалось.

И на этом всё кончилось. Внешне не произошло ровно ничего — не было ни слез, ни упрёков, ни вопросов. В доме по-прежнему пахло кофе, тикали часы, и дети, смеясь, со-

бирались на остановку. Но Анна уже знала: с этого утра, с этой прилипшей к пальцам земли, с этого неславшего ночного часа, что-то в ней сдвинулось раз и навсегда.

Первая трещина прошла по ней — не по дому, не по их жизни, а по ней самой, по той тихой, спокойной вере, на которой она стояла все эти годы, как стоит дом на фундаменте. И хотя снаружи всё было по-прежнему цело, внутри, в самой глубине, где не видно никому, уже змеилась эта тонкая, тёмная, еле различимая линия — та самая, с которой, как Анна потом не раз уговаривала себя, всё и начинается.

Часть II. Оправдание

Глава 5. Чужая хроника

В архиве было жарко, душно и пыльно — той особенной, архивной пылью, которая пахнет не бумагой даже, а временем, старой типографской краской и чужими, давно отболевшими бедами. Анна снимала пальто уже в дверях, но дышать легче не становилось: воздух здесь стоял густой, как кисель, и, казалось, имел вкус — сухой, терпкий вкус пыли, оседавшей на языке, на зубах, на потрескавшихся губах.

Библиотекарьша отвела ей угол у окна, не спрашивая, зачем ей старые газеты, и принесла подшивки, тяжёлые, перетянутые бечёвкой, как стягивают щепочками рану. Анна села. Развязала первую. И сразу же, ещё не дотронувшись до страниц, почувствовала, как по спине, под рубашкой, поползла струйка пота — не от жары даже, а от того внутреннего жара, какого не бывает в комнатах, а бывает только в человеке, который боится того, что сейчас увидит.

Пахло пылью. От неё першило в горле. Анна облизнула губы и снова отведала этот вкус — сухой, землистый, как будто она уже не в редакции, а где-то там, где всё это когда-то случилось.

Она читала много часов подряд, до того, что строки начинали плыть перед глазами, а буквы сливались в одну тёмную ровную полосу, и ей приходилось моргать и тереть веки, чтобы удержать хоть что-то в памяти.

Хроника была страшна не сама по себе — не заголовками, не фотографиями, которых, впрочем, почти и не печатали в те годы, — а своей будничностью, своей повседневной, ничем не примечательной серью. Пропала такая-то. Возвращалась от подруги. Не дошла. Найдена такая-то. За гаражами. В лесополосе. У реки, на том берегу, где весной не пройти. И снова: пропала. И снова: найдена. И так — из номера в номер, из года в год, ровным, убаюкивающим, почти скучным газетным языком, каким пишут о происшествиях, чтобы не сойти с ума тем, кто читает.

Но Анна читала не газетным глазом. Она читала так, как читаешь приговор, — жадно, впиваясь в каждое слово, выискивая то, чего не было написано, но что так ясно проступало между строк, как проступает под старыми обоями чей-то давний, тёмный рисунок.

На втором часу она достала из сумки тетрадь и стала выписывать. Даты. Имена. Места. И дыхание её всё учащалось, и гудение крови в висках заглушало и скрип двери, и далёкий уличный шум, и даже тиканье часов, которых здесь, кажется, и не было вовсе.

А потом она поняла, что ей нужно видеть всё разом — не списком, не столбцом, а так, чтобы оно легло перед ней

вширь, как ложится на военный совет карта, на которой расставлены красные и синие флажки.

Она попросила у библиотечарши лист бумаги, побольше, чем у той. Та долго, неодобрительно смотрела на неё, но дала — старый, пожелтевший уже ватман, на котором когда-то, видно, чертили схемы. Анна взяла его, развернула на столе, придавила углы подшивками.

И стала рисовать.

Она чертила карту города по памяти — улицы, переулки, пустыри за гаражами, тот берег реки, лесополосу, куда не ходили и днём. Рука её дрожала, линия выходила неровной, срывалась, но Анна не останавливалась, потому что теперь, с грифелем в руке, она впервые не читала чужую хронику, а складывала её, как складывают мозаику, и с каждым новым крестиком на карте ей становилось всё яснее то, что она боялась увидеть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.